

ДВИГАЕМ В БУДАПЕШТ

Мы направляемся в Будапешт: Бастард, Чипо, Гадноуз, Сбо, Стина и я. Несмотря на то, что нам нельзя выходить за Мзиликази-роуд, на то, что Бастард должен приглядывать за сестренкой Фракшн, на то, что мама меня прибьет, если узнает; несмотря на все. В Будапеште можно натереть гуавы, а я сейчас за гуаву умереть готова. Мы с утра не ели, и в животе у меня будто все лопатой выкопали.

Из Парадайза выбраться несложно, потому что матери, известное дело, заняты своими волосами и разговорами. Лишь глянули на нас, когда мы прошмыгнули мимо лачуг. И мужчины, расположившиеся под жакарандой, нам не помеха — у них на уме только шашки. Одна голая детвора замечает нас и плетется следом, но Бастард дает в лоб первому, и они отстают.

Добравшись до зарослей, мы уже вовсю несемся и голосим, словно визг добавляет нам скорости. Сбо заводит: Кто открыл путь в Индию? И мы все: Васко да Гама! Васко да Гама! Васко да Гама! Бастард впереди, поскольку он в этот день выиграл в страны и решил, что он теперь наш президент или типа того; за ним — я, Гадноуз, Стина, Сбо и в самом хвосте Чипо, за которой никто в Парадаи́зе не мог угнаться, пока ее кто-то не обрюхатил.

Перейдя Мзиликази, мы срезаем путь через очередные заросли, чешем по Хоуп-стрит, обтекаем большой стадион с блестящими скамьями, на которых никому из нас не сидеть, и, наконец, оказываемся в Будапеште. Один разок нам, правда, пришлось притормозить, чтобы Чипо с животом передохнула; иногда он у нее побаливает, и надо переждать, пока боль не успокоится.

И когда она уже родит? говорит Бастард. Бастарду не нравится, что мы буксуем на ровном месте из-за живота Чипо. Он даже убеждал нас не играть с ней.

Когда-нибудь родит, говорю я за Чипо, поскольку она больше не разговаривает. Она вовсе не немая, просто замолчала, когда живот стал расти. Но она по-прежнему играет с нами и во всем участвует, а если ей очень-очень нужно что-то сказать, то показывает руками.

Когда-нибудь — это когда? В четверг? Завтра? Через неделю?

Не видишь разве, что у нее живот еще маленький? Ребенку надо вырасти.

Ребенок растет *снаружи* живота, а не внутри. Затем он и рождается. Чтобы вырасти во взрослого.

Ну, еще рано. Поэтому он пока в животе.

Это мальчик или девочка?

Мальчик. Первому положено быть мальчиком.

Но ты же девочка, башка, а тебя первой родили.

Я сказала — *положено*.

Хватит этой отстойной болтовни, не твой ведь живот.

Я думаю, это девочка. Я все время прикладываю руки и ни разу не почувствовала толчка, ни разочка.

Да, мальчишки толкаются, пихаются и бодаются, это все, что они умеют.

Она хочет мальчика?

Нет. Да. Может быть. Я не знаю.

А откуда вообще дите выходит?

Из того же места, через которое в живот заходит.

А как оно в живот попадает?

Сперва его туда Богоматерь вкладывает.

Нет, не Богоматерь. Мужчина его вкладывает, мне кузина Муса говорила. Ну, вообще-то, она говорила Энии, а я просто рядом была и услышала.

Ну и кто вложил ребенка в нее?

Откуда нам знать, если она не говорит?

Кто его вложил туда, Чипо? Скажи нам, мы никому не проболтаемся.

Чипо смотрит в небо. В одном глазу у нее слеза, совсем маленькая.

Тогда, если мужчина вложил это, почему он же не вынет?

Потому что рожают женщины, недоумок. Для того у них и груди, чтобы дети сосали, и все остальное.

Но у Чипо груди маленькие. Как камешки.

Неважно. Вырастут, когда ребенок родится. Идем. Мы можем идти, Чипо? говорю я.

Чипо не отвечает, она просто срывается с места, и мы ее догоняем. Добежав до самой середины Будапешта, останавливаемся. Тут все иначе, не как в Парадайзе, мы словно оказываемся в другой стране. В хорошей стране, где живут люди, непохожие на нас. Но только здесь не видно ничего такого, что походило бы на жизнь настоящих людей; даже воздух пустой: никакая вкуснятина не готовится, нет ни запахов, ни звуков. Вообще ничего.

Будапешт — это сплошь большие-большие дома со спутниковыми тарелками на крышах и опрятными дворами с щебенкой или подстриженными газонами, с высокими заборами и бетонными стенами, с цветами и огромными деревьями, увешанными плодами, которые только нас и ждут, потому что никто здесь, похоже, не знает, что с ними делать. Именно плоды и придают нам смелости, а иначе мы бы и не сунулись сюда. Я все жду, что чистые улицы вот-вот шикнут на нас и велят убираться во-свояси.

Раньше мы тырили у Сतिного дяди, который теперь живет в Британии; ну, не прямо тырили-тырили — это ведь было не чье-то чужое дерево, а дяди Стины. Есть разница. Но вскоре мы разделились со всеми гуавами на том дереве и перешли к другим домам. Мы обобрали столько деревьев, что я сбилась со счета. Это Бастард решил, что нам надо выбрать улицу и оставаться на ней, пока не обойдем все дома. А дальше переходить на следующую улицу. Чтобы не путать, где мы были и куда идем. Схема такая, и Бастард говорит, что, действуя по ней, мы станем лучшими ворами.

Сегодня мы начинаем новую улицу, поэтому внимательно все обнюхиваем. Мы проходим по Чимуренга-стрит*, где уже обобрали все гуавовые деревья недели две-три назад, и видим, как раздвигаются белые занавески и возникает лицо в окне кремового

* Чимуренга (по имени праотца народов шона, венда и каланга) — борьба; общее название межрасовых столкновений на территории Зимбабве между чернокожими аборигенами и белыми колонистами. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

дома, перед которым стоит мраморный голый писающий мальчик с крыльями. Мы замираем и глязем, смотрим, что сделает это лицо, и тут окно открывается, и веселый голосок велит нам задержаться. Мы стоим как стояли не потому, что послушались этого голоса, а потому, что никто из нас не бросился наутек, и еще потому, что голос не внушает опасности. Из окна на улицу льется музыка; это не квайто, не данс-холл, не хаус — это что-то непонятное.

Высокая худая женщина открывает дверь и выходит из дома. Она что-то ест — это первое, что мы замечаем. Направляясь к нам, она машет рукой, и мы уже понимаем по ее худобе, что убежать нам не придется. Мы ждем, пытаюсь понять, чему или для чего она улыбается. Женщина останавливается у калитки; калитка закрыта, а ключи она не взяла.

Иисусе, не выношу эту ужасную жару и твердую землю. Как вам, ребята, удастся с этим справляться? спрашивает женщина неопасным голосом. Она улыбается и откусывает кусочек от чего-то съедобного, что держит в руке. На шее у нее болтается розовый фотоаппарат. Мы все смотрим на ступни этой женщины, которые выглядывают из-под длинной юбки. Они у нее чистые и красивые, как у младенца. Она шевелит пальцами с лиловыми ногтями. Я не помню, чтобы мои ступни когда-нибудь так выглядели; разве что когда я только родилась.

И еще смотрим на ее красный жующий рот. По натянутым жилам сбоку шеи и по тому, как она прищмокивает большими губами, я понимаю: эта еда реально вкусная. Я внимательно гляжу на ее тонкую руку, на еду в ней. Это что-то плоское, с хрустящей

корочкой. Верхушка кремовая, на вид мягкая, и на ней кругляшки вроде монеток — темно-розовые, как свежие ожоги. Я также вижу посыпку из чего-то красного, зеленого и желтого и коричневые бугорки, напоминающие прыщи.

Чипо указывает на эту штуку и тычет в воздух, как бы говоря: Что это? Другой рукой она гладит живот; теперь, когда она беременная, Чипо все время играет с животом, словно это какая-то игрушка. Живот у нее с футбольный мяч, не очень большой. Мы пялимся на рот женщины и ждем, что она скажет.

А, это? Это фотоаппарат, говорит женщина, будто мы не знаем; камню и то ясно, что это фотоаппарат. Женщина вытирает руку о юбку, трогает фотоаппарат, затем бросает недоеденную штуку в бачок у двери, не попадает и смеется как помешанная. Она смотрит на нас, типа призывая, чтобы и мы с ней посмеялись, но наши глаза прикованы к той съедобной штуке, которая пролетела по воздуху и мертвой птичкой упала на землю. Мы никогда не видели, чтобы кто-нибудь выбрасывал еду, даже такую. Чипо, кажется, готова броситься к ней и поднять. Изогнутый рот женщины заканчивает жевать, она глотает. Я глотаю вместе с ней, и в горле у меня покалывает.

Сколько тебе лет? спрашивает женщина Чипо, глядя на ее живот, словно никогда не видела беременную.

Ей одиннадцать, отвечает за Чипо Гадноуз. Нам десять, мне и ей, — мы как близнецы, говорит Гадноуз, имея в виду себя и меня. Бастарду одиннадцать, Сбо девять, а сколько Стине — мы не знаем, потому что у него нет метрики.

Вау, говорит женщина. Я тоже говорю: вау, вау-вау-вау, — но только про себя. Я впервые услышала

это слово. Пытаюсь понять, что оно значит, но устаю напрягать мозги и сдаюсь.

А вам сколько лет? спрашивает ее Гадноуз. И откуда вы? Я думаю, что у Гадноуза слишком большой рот и однажды по нему влепят.

Мне? Ну, мне тридцать три, и я из Лондона. Я впервые приехала в папину страну, поясняет она и тербит цепочку на шее. Золотая висюлька на цепочке — в виде карты Африки.

Я знаю Лондон. Однажды я ел сладости оттуда. Сперва они были сладкими, а потом сделались кислыми во рту. Их прислал дядя Вуса, когда только перебрался туда, но это было давно. Больше он ничего не присылает, говорит Гадноуз. Он поднимает взгляд к небу, словно хочет увидеть там самолет с дядиными сладостями.

Но вы выглядите всего на пятнадцать, как маленькая, говорит Гадноуз, снова глядя на женщину. Я ожидаю, что она сейчас протянет руку и ударит его по губам, однако она лишь улыбается, словно ее не оскорбили.

Спасибо, я только недавно слезла с диеты Иисуса, говорит она очень довольным голосом. Я смотрю на нее: типа, за что спасибо-то? И думаю при этом: что за диета Иисуса? Она о реальном Иисусе, типа Божьем Сыне?

По лицам и молчанию остальных я понимаю, что они считают женщину странной. Она запускает руку в волосы, спутанные и растрепанные; если бы я жила в Будапеште, то мылась бы каждый день с ног до головы и хорошо причесывалась, чтобы показать: я не абы кто и живу не абы где. С этими дикими волосами, за калиткой с замком и прутьями забора,

женщина похожа на животное в клетке. Я начинаю обдумывать, что буду делать, если она все же выско-чит и набросится на нас.

Вы, ребята, не возражаете, если я сниму вас? спрашивает она. Мы не отвечаем, потому что не привыкли, чтобы взрослые нас о чем-то спрашивали; мы просто смотрим на женщину, на ее буйные волосы, на юбку, которая метет землю при ходьбе, на ее красивые ступни, ее золотую Африку, ее большие глаза, ее гладкую кожу без единого шрама, словно она вовсе не человек, на серьгу в ее носу, на футболку со словами «Спасите Дарфур».

Отлично, теперь встаньте покучнее, говорит женщина. Ты, высокий, давай назад. А ты, да, ты, и ты, смотрите сюда. Нет, это я тебе, без зубов, смотри на меня, вот так, велит она; ее руки высовываются из-за решетки, едва не касаясь нас.

Так, так, теперь скажите «чиз», скажите «чиз, чиз, чи-и-из», с энтузиазмом распоряжается она, и все говорят «чиз». Сама я толком ничего не говорю, так как пытаюсь вспомнить, что значит «чиз», и никак не вспомню. Вчера Мать Костей рассказывала нам о птичке Дуду: та выучила и спела новую песню, смысла слов которой не понимала, и ее потом поймали, убили и съели на ужин, потому что в песне она на самом деле просила людей убить себя и съесть.

Женщина указывает на меня, кивает и просит тоже сказать «чи-и-из», и я говорю — в основном потому, что она улыбается так, словно реально знает меня и даже мою маму. Я проговариваю сперва медленно, а потом повторяю «чиз, чиз, чиз, чи-и-из», и все говорят «чиз-чиз-чиз», и мы вместе распеваем это слово, а фотоаппарат щелкает, щелкает и щелкает.

Затем Стина, молчавший почти все время, просто поворачивается и уходит. Женщина перестает снимать и говорит: Эй, куда это ты идешь? Но он не останавливается, даже не оборачивается. За Стиной следует Чипо, а после и мы все идем за ними.

Женщина стоит и снимает, как мы уходим. Потом Бастард тормозит на углу Виктории и начинает кричать ей гадости; я вспоминаю ту штуку, которую она выбросила, даже не спросив, не хотим ли мы ее, и тоже кричу гадости, и все подхватывают. Мы кричим, кричим и кричим; мы хотим съесть то, что она ела, мы хотим слышать, как разносятся наши голоса, хотим, чтобы голод отступил. А женщина стоит и смотрит на нас в недоумении, словно при ней никто никогда не кричал, а затем устремляется обратно в дом, но мы кричим ей вслед, кричим, пока не чувствуем вкуса крови в саднящих глотках.

Бастард говорит, что мы, когда подрастем, перестанем тырить гуавы и перейдем на более серьезные вещи в самих домах. Я об этом не особо беспокоюсь, потому что к тому времени меня тут вообще не будет; я буду жить в Америке у тети Фосталины, есть реальную еду и заниматься делами поважнее воровства. А пока — гуавы.

Мы решаем устроить набег на Роберт-стрит, на огромный белый дом, напоминающий гору. В доме — большие окна, много всего блестящего, а перед ним есть красный бассейн в окружении пустых стульев. Все выглядит очень красивым, но, я думаю, это то, на что приятно смотреть, восхищаться и говорить «о, как красиво», а не то, в чем хотелось бы жить.

К счастью, дом стоит в глубине двора, а наши гуавы — прямо перед входом; они будто услышали,

что мы идем, и выбежали нам навстречу. Мы довольно быстро перелезаем через стену, забираемся на дерево и наполняем пластиковые сумки. Сегодня мы тырим бычьи гуавы. Они большие, как злые мужские кулаки, и не желтеют, как обычные гуавы; снаружи они остаются зелеными, а внутри — розовые, рыхлые и до того вкусные, что я даже объяснить не могу.

На обратном пути в Парадайз мы не бежим. Спокойно идем, словно Будапешт теперь тоже наша страна, словно мы сами его построили, и едим по дороге гуавы, сплевывая кожуру куда попало и повсюду мусоря. Мы останавливаемся на АЮ-стрит, чтобы Чипо вырвало; ее рвет почти всегда, когда она ест. Сегодня ее рвота похожа на мочу, только гуще. Мы идем дальше, не убрав за собой.

Когда-нибудь я буду тут жить, в таком вот доме, говорит Сбо, вгрызаясь в толстую гуаву. Она указывает на большой голубой дом с длинной лестницей, утопающий в цветах. Дом и правда хороший, но не лучше того, где мы только что тырили гуавы. Голос у Сбо такой, будто она не играет, а знает, о чем говорит. Я смотрю, как она жует, раздувая щеки. Глокает и принимается боковыми зубами счищать кожуру с остатка гуавы.

И как ты это сделаешь? спрашиваю я.

Сбо сплевывает кожуру и, обращая ко мне свои большие глаза, отвечает: Я просто это знаю.

Во сне она это сделает, говорит Бастард, глядя на солнце, и бросает гуаву в стену дома Сбо. Гуава взрывается и растекается по стене. Я кусаю сладкую гуаву; мне не нравится разгрызать семена бычьей гуавы — они твердые и требуют много времени,

поэтому я их лишь надкусываю, а иногда глотаю целиком, хотя знаю, что случится позже, когда я присяду по-большому.

Зачем ты это сделал? Сбо смотрит на испачканную стену своего дома, а затем на Бастарда. Лицо у нее стервенеет, как у настоящей женщины.

Я спрашиваю — зачем ты это сделал? Голос Сбо жжется, словно угли, как будто она сейчас что-то делает Бастарду; но ничего она не сделает, потому что Бастард больше и сильнее, к тому же он мальчик. Он уже бил и Сбо, и меня, и Чипо, и Гадноуза; он всех бил, кроме Стины.

Потому что могу, подхалимка. И вообще, какая разница? говорит Бастард.

Потому что ты слышал, как я сказала, что мне нравится этот дом, вот и не надо ничего ему делать. Мог бы выбрать другой, на который мне плевать, их тут вон сколько! говорит Сбо.

Ну, это еще не значит, что он твой, так ведь? Бастард носит черные треники и линялую оранжевую футболку с надписью «Корнелл»*. Он снимает ее и повязывает на голову, и я не знаю, сделался он от этого страшнее или красивее, стал ли больше походить на мужчину или на женщину. Развернувшись, он идет назад, надвигаясь на Сбо. Ему нравится, когда тот, с кем он ссорится, смотрит прямо на него.

Будапешт — это тебе не отстойный туалет, чтобы любой мог зайти, это тебе не Парадайз. Не будешь ты тут жить, говорит он.

* Корнеллский университет (англ. Cornell University, сокращенно Корнелл) — один из крупнейших и самых известных университетов США, входит в Лигу плюща.

Я выйду замуж за мужчину из Будапешта. Он заберет меня из Парадайза, подальше от лачуг, и Хэвенвэя, и Фамбеки, и всего остального, говорит Сбо.

Ха-ха. Думаешь, мужчина возьмет тебя без зубов? Даже я не взял бы, кричит Гадноуз, оглядываясь через костлявое плечо. Они с Чипо и Стиной идут впереди. Я смотрю на шорты Гадноуза, порванные сзади: сквозь грязную белую ткань выглядывает задница, словно тарашится на нас.

Я не с тобой говорю, драная задница! отвечает Сбо Гадноузу. К тому же зубы у меня вырастут. Мама говорит, я еще красивей стану!

Гадноуз вскидывает руку, как бы отмахиваясь от нее, потому что ему на это нечего сказать. Камням и то ясно, что Сбо красотка, красивее всех нас, красивее всех детей в Парадайте. Иногда мы отказываемся играть с ней, если она снова начинает болтать об этом, — как будто мы сами не знаем.

Ну, мне все равно, я сам рвану из этой отстойной страны. Потом сделаю много денег, вернусь и куплю дом в этом самом Будапеште. Или даже лучше — много домов: один в Будапеште, один в Лос-Анджелесе, один в Париже. Где захочу, говорит Бастард.

Когда мы ходили в школу, учитель мистер Гоно как-то сказал: чтобы делать деньги, нужно образование, говорит Стина, останавливаясь и глядя на Бастарда. А как ты теперь его получишь, если мы больше не ходим в школу? добавляет он. Стина мало говорит, и потому, когда он открывает рот, становится понятно, что это важный разговор.

Не нужна мне твоя отстойная школа, козел, чтобы делать деньги, говорит Бастард. И так близко

придвигает лицо к Стине, словно хочет откусить ему нос. Стина может подраться с Бастардом, если захочет, но он просто смотрит на него, будто ему скучно, и доедает свою гуаву. А затем уходит быстрым шагом, прочь от нас.

Я собираюсь в Америку, буду жить с тетей Фосталиной, уже скоро, вот увидите, говорю я погромче, чтобы все слышали. И принимаюсь за новенькую гуаву; она такая сладкая, что я съедаю ее за три укуса. Даже семечки не жую.

Америка слишком далеко, мелюзга, говорит Бастард. Я не хочу никуда, докуда нужно лететь. Вдруг попадешь туда и поймешь, что это отстойное место, застрянешь там и не сможешь вернуться? Сам я собираюсь в Йобург*, и если дела станут плохи, то смогу просто выйти на дорогу и двинуть куда угодно, никого не спрашивая; надо отовсюду иметь возможность вернуться.

Я смотрю на Бастарда и размышляю, что ему сказать. Семечко гуавы застряло у меня между десной и самым дальним зубом, и я пытаюсь достать его языком. Наконец пробую пальцем; на вкус оно как ушная сера.

Да, Америка далеко. Вдруг с твоим самолетом что-нибудь случится, когда ты там будешь? Вдруг террористы захватят? соглашается Гадноуз с Бастардом.

Я думаю, что бесхребетный голозадый Гадноуз говорит это только для того, чтобы угодить уроду Бастарду. Я берусь за новую гуаву и выразительно зыркаю на Гадноуза.

* Йобург, Йози — так местные жители называют Йоханнесбург, самый крупный по численности населения город ЮАР.

Мне все равно, я уеду, говорю я и прибавляю шаг, чтобы нагнать Чипо и Стину; знаю, чем закончится разговор, если ко мне прицепятся Гадноуз и Бастард.

Ну и вали в свою Америку, будешь там сиделкой работать. Этим и занимается твоя тетя Фосталина, пока мы тут с тобой разговариваем. Прямо сейчас убирает говно за каким-нибудь сморщенным стариком, который сам ничего не может; думаешь, мы ничего не слышали? кричит мне в спину Бастард, но я продолжаю идти.

И раздумываю о том, что, будь у меня достаточно сил, я развернулась бы и наваляла Бастарду за такие слова о моей тете Фосталине и моей Америке. Я влепила бы ему по лицу, заехала бы по большому лбу, а потом врзала бы кулаком прямо в рот, чтобы он зубы выплевывал. Я колотила бы его по животу, пока он не выблюет все гуавы, которые съел. Я придавила бы его к земле, уперлась коленом в хребет, заломила руки за спину и оттягивала бы башку до тех пор, пока он не стал бы умолять сохранить его никчемную жизнь. Вот так я сделала бы, но я просто ухожу. Я знаю, что он болтает это просто из зависти. Потому что у него никого нет в Америке. Потому что тетя Фосталина не его тетя. Потому что он Бастард, а я Дарлинг*.

К тому времени, как мы возвращаемся в Парадайз, гуавы уже съедены и наши животы набиты так, что мы еле ноги волочим. Мы заходим в кусты справить нужду, потому что переели. Плюс лучше сделать это до того, как стемнеет, ведь потом никто за компанию не пойдет; а одному страшно выходить на ночь

* Дарлинг (англ. darling) — милочка, милая.

глядя — до кустов нужно идти через кладбище Хэ-венвэй и можно наткнуться на привидение. Знающие люди поговаривают, что по ночам в Парадайзе бродит умерший в прошлом месяце отец Мозес в своей желтой футболке «Барселоны».

Мы все разбредаемся, и я нахожу местечко за валуном. Этим гуавы и плохи: если переешь, то из-за их семян будет запор. Мы не говорим об этом, но я знаю, что у всех нас опять запор, так как все сидят молча, никто не встает и не уходит. Мы объедаемся гуавами, потому что только это позволяет убить голод; когда же пора какать, становится дико больно — это дело почти невозможное, типа как пытаться родить страну.

Мы все сидим на корточках кто где, я стучу кулаками по ляжкам, чтобы прогнать спазм, и вдруг кто-то кричит. Не таким криком, когда ты слишком тужишься и семечки царапают анус; этот крик словно говорит «смотрите сюда!», поэтому я прекращаю тужиться, натягиваю трусы и встаю из-за валуна. Чипо сидит на корточках и кричит. Она показывает вперед, в кусты. Мы видим, что там, на дереве, болтается что-то длинное, похожее на странный плод. Затем понимаем, что это не плод, а человек. Затем понимаем, что это не просто человек, а женщина.

Что это? шепчет кто-то. Никто не отвечает, потому что теперь уже всем видно, что это. Худая женщина болтается на зеленой веревке, прицепленной к ветке на верхушке дерева. Красное солнце пробивается сквозь листву, придавая всему странный оттенок; это выглядит по-своему красиво, светлая кожа женщины поблескивает. Но смотреть все равно страшно, и я хочу убежать, но не хочу бежать одна.

Тонкие руки женщины безвольно свисают по бокам, кисти и ступни указывают на землю. Одни прямые линии, словно ее нарисовали такой, висящей в воздухе. Страшнее всего — глаза, донельзя белые и готовые вылезти из орбит. Рот распахнут, образуя букву «о», как будто женщина пыталась что-то сказать и не успела. На ней надето желтое платье, трава лижет носы красных туфель. Мы просто стоим и глазеим.

Побежали, говорит Стина, и я готова сорваться с места.

Не видите разве, что она повесилась и уже мертвая? Бастард берет камень и бросает; он попадает женщине по бедру. Я ожидаю, что что-то произойдет, но ничего не происходит; она не шевелится, двигается лишь ее платье. Ткань чуть колышется на легком ветерке, словно ангелочек играет с ней.

Видите, сказал же вам, она мертвая, говорит Бастард таким голосом, которым периодически напоминает нам, кто тут главный.

Тебя Бог за это накажет, говорит Гадноуз.

Бастард бросает еще один камень и попадает женщине по ноге. Она по-прежнему не шевелится — просто болтается, как потрепанная кукла. Меня охватывает ужас; мне кажется, что женщина косится на меня своим белым вытаращенным глазом. Косится и ждет, чтобы я что-то сделала, не знаю что.

Бог тут не живет, дурак, говорит Бастард. Он снова бросает камень, но тот только задевает желтое платье, и я рада, что он промахнулся.

Я пойду расскажу маме, говорит Сбо, и по голосу ясно, что она чуть не плачет.

Стина уходит, Чипо, Сбо, Гадноуз и я идем за ним. Бастард ненадолго задерживается, но, оглянувшись

через плечо, я вижу, что он нас нагоняет. Я знаю, что он не останется в зарослях наедине с мертвой женщиной, как бы ни хотел казаться бесстрашным. Мы идем, и вдруг Бастард вырывается вперед и останавливает нас.

Эй, кто хочет реального хлеба? говорит он, затягивая потуже футболку «Корнелл» на голове и улыбаясь. Я вижу рану на его груди — слева, под ребрами. Розовую, как внутренность гуавы.

Это где? говорю я.

Слушайте, вы заметили, что туфли на этой женщине почти новые? Если мы снимем их, то сможем продать и купить буханку, а то и полторы.

Мы все разворачиваемся и идем за Бастардом к зарослям, уже чувствуя дурманящий запах бананового хлеба, а потом бежим, несемся со всех ног и смеемся, смеемся, смеемся.

ДАРЛИНГ НА ГОРЕ

В этот день умер Иисус Христос, поэтому мне надо оставаться на воздухе и мыться холодной водой. Мне не нравится холодная вода и не нравится мыть все тело, но приходится, если нужно идти в какое-то особенное место. Когда я закончу и оденусь, мы с Матерью Костей отправимся в ее церковь*. По ее словам, это меньшее, что мы можем сделать, ведь мы все грязные грешники и это за нас отдал жизнь Иисус Христос; но я знаю одно: когда все это случилось, меня там не было, так почему же я грешница?

Ходить в церковь мне тоже не нравится, я не понимаю, зачем должна сидеть под жарким солнцем на этой горе и слушать скучные песни, бессмысленные молитвы и непонятные стихи, когда могла бы заниматься чем-то важным с друзьями. Плюс в прошлый раз этот чокнутый Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро тряс и тряс меня, пока я не сблевала чем-то розовым. Я думала, что реально умру. Профет Ревелэйшнз Битчингтон Мборро пытался изгнать из меня духа; говорят, я одержима — из-за того, что мой дедушка не похоронен должным образом. Во время войны белые люди убили его за то, что он кормил и укрывал террористов, которые

* Христианство исповедуют 85 процентов населения Зимбабве.

пытались вернуть себе нашу страну, украденную белыми.

Если что-то крадешь, лучше красть что-то маленькое, что можно спрятать или быстро съесть, — как гуава. Тогда люди не увидят тебя с краденым, которое укажет, что ты бессовестный вор и украл это у них; в общем, не представляю, о чем думали белые люди, когда украли не просто какую-то вещь, а целую страну. Разве кто-нибудь простит такую кражу? Никто не знает, где тело моего дедушки, и люди в церкви говорят, что его дух живет во мне и не оставит меня, пока его не похоронят как положено. Правда, сама я никогда не видела и не чуяла этого духа и не могу сказать, правы эти люди или врут, как иногда делают взрослые просто потому, что они взрослые.

Эй, ушастая, зачем ты купаешься? кричит мне кто-то.

Кто это? кричу я в ответ, хотя мне и не нравится, когда меня называют ушастой. У меня все лицо в мыле, так что я не открываю глаза.

Мы собираемся играть в виллибол, а зачем ты купаешься?

Я иду в церковь с Матерью Костей, говорю я, ощущая во рту мыло «Санлайт». И начинаю плескать воду на лицо.

Не хочешь с нами поиграть? спрашивает другой голос, возможно Сбо.

Мне надо в церковь. Не знаете, что ли, что сегодня умер Иисус? говорю я.

Мой отец говорит, что ваша церковь — отстой, а ваш Пророк Ревелэйшнз Битчингтон Мборро просто иди... слышу я голос Бастарда.

Ты ты фуцекани оставь ее в покое мгодойис поганый пошел вон бо-Сатан бе-Рома*! ярится Мать Костей из лачуги. Я слышу хихиканье и топот убегающих ног. Закончив умываться, открываю глаза, но все уже исчезли; все, что я вижу, — это коричневую собаку, лежащую возле лачуги МаДумэйн, и Аннамарию, купающую в тазу своего сына-альбиноса, Уайтбоя. Когда я машу ему, он начинает плакать, а Аннамария смотрит на меня испепеляюще и говорит: Оставь в покое моего сына, уродина, не видишь, ты его пугаешь?

В лачуге Мать Костей уже разложила мое хорошее желтое платье, которое я не посмела бы надеть, будь тут моя мама; она пошла на границу продавать вещи, и я остаюсь с Матерью Костей, пока она не вернется. Иногда мама возвращается всего через несколько дней, иногда — через неделю; иногда она возвращается, когда я даже не знаю, в какой день ее ждать. Сейчас Мать Костей занята тем, что пересчитывает деньги, как и каждое утро, а я потихоньку занимаюсь своими делами, чтобы не мешать ей. Лезу под кровать и достаю вазелин.

Да не балуй с вазелином не вздумай пить его хона и нечего тебе играть с этими придурками от них добра не жди, говорит Мать Костей, а я притворяюсь, будто не слышу ее. Навазелинившись, я одеваюсь, сажусь на край кровати и жду; не понимаю, зачем Мать Костей каждый день пересчитывает свои деньги, словно кто-то сказал ей, что они за ночь дают

* Фуцекани, мгодойис, бо-Сатан бе-Рома — слова и выражения из ряда африканских языков: «недоумок», «выродок», «сатанинское отродье».

приплод. Чтобы не скучать, я принимаюсь считать выцветшие солнца на покрывале; их ровно двенадцать, как апостолов: Симон, Петр, Андрей, других не знаю; может, зовись они получше, я всех запомнила бы.

Пересчитав солнца, я смотрю в другой конец лачуги на отца — он одет в странное черное платье и дурацкую квадратную шляпу; с шеи его свисают какие-то веревочки и всякие штуковины. В одной руке он держит бумагу, а другую его руку трясет толстяк в костюме. Мать Костей говорит, что фотография была сделана, когда отец оканчивал университет, незадолго до моего рождения. Она сама там тоже есть, только ее не видно, потому что толстяк вылез прямо перед ней в тот момент, когда щелкнула камера, словно это его родной сын оканчивал университет. Теперь отец в Южной Африке, работает, но никогда не пишет, никогда не присылает деньги, вообще ничего и никогда. От мыслей о нем меня злость берет, а потому большую часть времени я делаю вид, что его просто нет; уж лучше так.

Дальше я смотрю на длинную желтую занавеску с прекрасными принтами гордых павлинов, распустивших перья лучами. Она закрывает часть жестяной стены; мне не совсем понятно, зачем Мать Костей вообще повесила занавеску, ведь здесь нет настоящих стеклянных окон. После занавески я смотрю на календарь; он старый, но Мать Костей хранит его, потому что на нем — Иисус Христос. С женскими волосами и робкой улыбкой, он склонил голову чуть набок; по всему видно, что он реально хотел хорошо получиться на картинке. Раньше у него были голубые глаза, но я покрасила их в коричневый, как у меня и у всех вокруг, чтобы

он стал нормальным. Мать Костей так сильно отлупила меня за это, что я два дня не могла присесть.

Рядом с Иисусом — мой кузен Макоси со мной на руках, когда мы были маленькими. Два года назад Макоси уехал на шахту Маданте копать алмазы — тогда их там впервые обнаружили, и все повалили туда. Когда Макоси вернулся, руки у него были как гнилые бревна. Он рассказывал нам о Маданте, сотрясаясь в приступах мучительного мокрого кашля: о том, как забывал обо всем, когда находился под землей. Все, что он чувствовал, спускаясь в шахту, — это ужасный грохот кувалды со всех сторон или даже у него внутри, словно он ее проглотил. Позже он тоже уехал в Южную Африку, как и отец.

А под кроватью, внутри старой потрепанной Библии, которую Мать Костей не берет в церковь, спрятана фотография дедушки. Его убили до моего рождения, но как только я увидела его, сразу поняла, кто это; я будто смотрела на себя, и Макоси, и отца, и дядю Музи, и других родных, — будто дедушкино лицо было кулаком, зажавшим все наши лица, как монеты.

На спрятанной фотографии дедушка говорит, губы у него поджаты. Лоб сморщен, а красные глаза так вперились в объектив, что, кажется, он хочет его съесть. В носу у него кость, а в ушах серьги. За ним простираются поля маиса в пояс высотой, зелень без конца и края. Никто не любит говорить о нем, словно его вовсе не было, но иногда я замечаю, как Мать Костей что-то бормочет, и, хотя она не признается, у меня всегда такое чувство, что бормочет она ему. Она не знает, что я знаю о дедушкиной фотографии.

Зачем это кому-то надо чтобы я выбросила чемодан с деньгами это все чего я хочу знать и я сказала

с деньгами не с кирпичами нет с деньгами, говорит Мать Костей. Она сидит на корточках перед чемоданом, скрючившись, как богомол. Латунные браслеты звякают и звякают, пока ее руки перебирают пачки денег.

Знаешь чего я не пойму? спрашивает Мать Костей. Она поднимает голову и смотрит на меня, но я ей ничего не отвечаю, потому что знаю: она вообще не со мной говорит.

Чего я не пойму так это почему на эти самые деньги которых у меня навалом нельзя купить даже крупицу соли вот уж чего не пойму, говорит она, в ее голосе слышится гнев. Деньги есть деньги как ни крути все равно это деньги, говорит Мать Костей. Затем она поглаживает деньги, словно младенца, которого хочет убаюкать.

Мать Костей, это старые деньги, они теперь бесполезны, неужели непонятно? Надо просто выбросить их или пустить на растопку, как все делают. Поговаривают, что скоро у нас будут американские деньги, говорю я, но только себе под нос, чтобы Мать Костей не услышала.

А американские деньги о которых твердят откуда я их возьму они думают я их накопаю ха думают я возьму и высру их? продолжает Мать Костей. Она всегда говорит скороговоркой, как будто боится, что, если сделает паузу, то у нее отнимут слова. Сперва я чуть не подскакиваю, решив, что она меня услышала, хотя я и говорила тихо, но она даже не смотрит на меня, поэтому остаюсь на месте. Ее лицо болезненно кривится, словно внутри у нее что-то ломается и кровоточит.

Лицо у Матери Костей — под цвет лачуги, грязно-коричневое, как будто специально в тон подобрали.

Оно изрезано глубокими морщинами; когда я была маленькой, думала, что кто-то взял осколок зеркала и резал его, резал, резал. На голове у нее повязан белый платок, а шею обвивают цветастые змейки бус: лиловые, оранжевые, розовые, голубые — кричаще яркие на спокойном коричневом фоне кожи.

* * *

Когда мы идем в церковь, я стараюсь держаться позади Матери Костей; если же я оказываюсь впереди, то она велит мне двигаться как женщина, как будто я женщина. Мать Костей перебирает своими маленькими ножками в разномастных туфлях: плоской зеленой и красной теннисной, с белыми шнурками, но это не значит, что она чокнутая.

Мы проходим мимо лачуг, теснящихся друг к другу, точно хлебные буханки с пылу с жару. Я иду босая — одни туфли мне уже малы, а другие, мэйд-ин-Чайна, которые мама принесла с границы, недавно развалились — и потому, внимательно глядя под ноги, обхожу всякий мусор на пыльной красной дороге: битые бутылки, помои и объедки, бурую лужу не пойми чего, арбузные корки. Несмотря на ранний час, солнце уже припекает лачуги; я чувствую, что и меня оно типа поджаривает.

Я иду молча, как и положено, пока Мать Костей громко здоровается со встречными людьми: мамой Борнфри*, МаДюбе, забивающей камнем гвозди в крышу лачуги; с НаБетиной, караулящей усевшегося по-большому внука Номопроблемса; с Май

* Борнфри (англ. Bornfree) — буквально «рожденный свободным».

Тонде, которая сидит на табуретке с вопящим младенцем на руках и заглядывает ему в ухо; с НаМгкобой, диктующей письмо высокому мальчишке, которого я впервые вижу.

Мы проходим мимо старого Зюза, глядящего на все слепыми глазами, мимо женщин, которые, усевшись перед лачугой, сплетничают и заплетают друг другу косички, и мимо мужчин: словно овцы, они сгрудились в кучку чуть поодаль, под одинокой жакарандой, и играют в шашки. Крона дерева усыпана лиловыми цветами, и мужчины без рубашек кажутся в ее тени почти красивыми. Они сидят, подавшись вперед, напоминая тигров, безразличные к солнцу, жалящему спины, и к птицам, гадающим им на плечи. Мать Костей громко здоровается с ними и машет рукой, но мужчины едва отрывают взгляды от выцветшей доски с шашками из бутылочных крышек, часть которых перевернута.

Когда мы проходим мимо людей, стоящих в очереди у лачуги Вадлозы, Мать Костей лишь машет им; здесь нельзя повышать голос, ведь это дом целителя. Кое-кто неохотно машет ей в ответ, с трудом превозмогая свои хвори и беды. Они ждут, когда Вадлоза войдет в контакт с их предками, в чем и состоит его работа. На большой белой вывеске выведено жирными красными буквами по-английски:

«Вадлоза, **ЛУЧШАЙШИЙ** целитель на весь этот Парадайз и не только уладит должным образом все эти проблемные случаи с которыми вы можете столкнуться в вашей жизни: привороты, проклятия, сглазы, распутные супруги, бездетство, нищенство, безработность, СПИД, бешенство, маленькие пенисы, эпилепсия, плохие сны, плохие браки / безбрачие,

конкуренция на работе, вас терроризируют мертвые, невезение в получении Визы особенно в США и Британию, бесчувственные люди в вашей жизни, у вас дома пропадают вещи и т.д. и т.п. Все платежи пожалуйста ТОЛЬКО через ФОРЕКС».

Проходя мимо детской площадки, я притормаживаю, чтобы все рассмотреть. Они играют в виллибол, и Бастард скачет под веревкой, а остальные скандируют: Он в Америку поехал на кастрюле, — и всяко-разно. Они останавливаются и смотрят, как мы идем, а когда совсем приближаемся, Гадноуз кричит: Дарлинг! Саму сказала, что может побить тебя, хочешь драться с ней, когда вы вернетесь? Слышала, НПО приедет на следующей неделе? Ты пойдешь в Будапешт? Будто не знает, что ему не положено разговаривать со мной, когда я рядом с Матерью Костей, как сейчас. Я начинаю поднимать руку к губам — хочу показать, что надо заткнуться, но Мать Костей говорит, даже не оборачиваясь: Не водись с этими нехристями мелкими слышишь?

Чуть дальше детской площадки мы встречаем Борнфри и Мессенджера, которые несут пачки плакатов. Они стараются выглядеть близнецами в одинаковых футболках с белыми сердечками спереди и красным словом «Перемены» пониже. Они расступаются, пропуская нас.

Доброе утро, Мать Костей, говорят они разом, словно репетировали.

Будете собирать кости, Мать Костей? говорит Мессенджер. Он смотрит на Мать Костей с улыбкой; улыбка у него хорошая, даже несмотря на черный зуб впереди. Мне они ничего не говорят, так что я просто смотрю на свои ноги, облепленные красной пылью,